

Александр ДОРОШЕНКО

Отче наш

- Где Бог? На небе?
- Он, должно быть, везде.
- Почему он не покарает Гитлера?
- Он не карает никого. Он создал и кошку, и мышь. Кошка не может есть траву, она должна есть мясо. Это не ее вина, что она убивает мышей. И мышка не виновата. Он создал волков и овец, резников и цыплят, ноги и червяков, на которых они наступают.
- Бог не добрый?
- Не так, как мы это понимаем.
- У него нет жалости?
- Не так, как нам это представляется.

Абель Пэнн, из цикла "Сосуд слез".

Он вышел на крыльцо, плотно закрыл за собой дверь и достал из-под ворота шинели сигареты и сделанную из стреляной гильзы зажигалку. Дело было в январе сорок второго года в городе, расположенном между западом и востоком, над теплым морем, во что трудно было сейчас поверить, потому что оно было покрыто льдом. Это был вполне европейский город, судя по его прямым улицам и прямоугольным перекресткам, по домам в узнаваемых архитектурных стилях. Он за последние годы насмотрелся на лучшие города Европы. По привычке, появившейся у него в последнее время, он тут же про себя уточнил: через прорезь прицела.

Он стоял на крыльце, у закрытых дверей, от которых тянуло теплом и паром. Здесь, на улице, было очень холодно, мороз схватывал лицо и пытался забраться за воротник. Но человек вышел из тепла помещения ненадолго и мог потерпеть. Он был одет в шинель и сапоги, поверх поднятого воротника шинели был туго повязан теплый шерстяной шарф. Так мама повязывала ему шарф на морозе, когда он был маленьким. Этого по-настоящему делать не полагалось, потому что форма есть форма, но таких холодов здесь, как говорят горожане, не было последних лет тридцать.

Он видел два костра, один налево, за перекрестком, и там были немецкие солдаты, и один вправо, по его стороне улицы, и вокруг него тоже стояли и грелись немцы, чуть переминаясь с ноги на ногу. Все патрули в городе были немецкие. Собственно, немецкая армия и взяла город, перед которым так долго топтались румыны. Теперь румыны были в городе, который принадлежал им. Воробьятские мелкие крысы, сказал он про себя. Он не любил, как и все ребята их роты, этих румын.

Он был одет в форму солдата немецкой армии, вермахта. Он был строен и молод, и сейчас, прикуривая сигарету и разглядывая из-под ладони длинную узкую улицу, далеко тянущуюся в обе стороны, он невесело улыбался своим мыслям. У него были прямые брови и хорошая линия подбородка и рта. Он вспоминал дом и мать, думая, чем она сейчас занята там, в нереально далеком Кельне, где было все иным, своим, уютным, и улыбался, прислушиваясь к голосам ребят своей роты, слышимым из-за тяжелой двери. Эта пивная, или, как здесь ее по-смешному называли, бодега, была сейчас его родным домом, оплотом и чувством родины, единственной родины, которая есть на войне у солдата. Это как окоп, подумал он, где все вместе и всё общее: еда, слово и смерть.

Он вспомнил любимые с детства приключенческие романы об американских индейцах и знаменитых путешественниках, мужественно проникавших в неведомые человеку новые земли, где на каждом шагу приходилось сражаться, где каждый белый был братом, потому что был белым, своим в мире этих случайных существ, аборигенов. Ну что же, путешествий ему теперь вполне хватало.

Он часто теперь задумывался о том, что на самом деле сблизает людей. Он знал, что сблизает совместно пережитая опасность и предстоящая смерть. В этих краях восточных варваров они были единственными представителями старой культуры. Тут он улыбнулся, вспомнив своих друзей, голоса которых доносились из-за закрытых дверей. Конечно не все они такие уж и представители культуры, особенно Ганс, бывший мясник, или булочник Герман, голос которого гремел там, в зале пивной, но это были, что ни говори, свои ребята, надежные, как приклад автомата или холодный пулеметный ствол.

Он увидел, как из-за угла дома вышла женщина с малышом. Ребенок был плотно закутан в пальто, обут в высокие ботиночки, и на голове была шапка с наушниками, плотно обтягивающая лицо. Отсюда трудно было определить, девочка это или мальчишка. Женщина шла быстро и тянула за руку ре-

бенка. Она увидела его и взяла ребенка на руки. Он понял: так она могла идти быстрее, она хотела скорее его миновать.

Он понимал, что местные жители опасаются солдат. Конечно, это из-за румын, подумал он, наши ребята не обидят женщину с ребенком. Они, немецкие солдаты, от этих мелких, разболтанных и вороватых румын отличались всем — выправкой, поведением, силой и уверенностью. Они не имели никаких дел с румынами и в душе их презирали. Он вчера видел, как румынский офицер бил солдата по лицу длинным стеком и что-то кричал. По лицу румынского солдата, взрослого человека, стоявшего навзблиз, текли слезы.

Он успел рассмотреть лицо женщины, прошедшей мимо. Она не глядела на него и шла быстро, плотно сжав губы. Мальчишка, теперь он увидел, что это мальчик, обнимал ее за шею. Жаль, он мог бы сказать ей что-нибудь благожелательное, мог бы погладить ребенка по голове. Мог бы ободрить. У него в семье было много детей, и он привык заботиться о младших. Дома, в Германии, сейчас тоже много одиноких женщин с детьми.

Он с сожалением посмотрел вслед этой русской. Они оба были смешно одеты-закутаны в шубки из одинакового материала, под пятнистого леопарда, в этом было что-то домашнее, уютное, располагавшее к доброй улыбке...

Он толкнул дверь бодеги и вошел в шумный зал, встреченный веселыми голосами сослуживцев и звуками скрипки, на которой пиликал какой-то румын, или цыган, или еврей, хотя насчет евреев он знал, что это вряд ли. И уже сидя среди друзей-камрадов, вставляя слова в их песни, он почему-то все продолжал видеть эту торопящуюся женщину с малышом, и шла она так быстро мимо него, потому что его боялась. Он сидел, согревался, потягивал пиво и все пытался понять, чего она так испугалась. Он видел пустую длинную улицу, вымерзшую до основания камня на ее бульварной мостовой, и женщину с малышом, торопящуюся уйти с его глаз...

Он, молодой солдат вермахта, так никогда и не понял, что сама судьба провела мимо него одинокую женщину с малышом, искавшую спасения от смерти, судьба вела ее за руку по длинной, безлюдной и безнадёжной Канатной улице, размазывая спасительную нить, чтобы свести воедино гонимых и возможного спасителя, единственного солдата вермахта, единственного немца в Городе и, возможно, единственного немца, еще способного понять и спасти.

Он, Генрих Бёльль, написал потом множество книг — о людях, о доброте и гуманизме, о человечности, но все, что он написал, было написано с опозданием, он так никогда и не совершил главного, чего потребовала от него судьба, того единственного поступка, которым можно было бы спасти мир людей. И это о нем сказано Екклесиастом: умножающий книги умножает скорбь!

Она шла теперь по Канатной, здесь меньше было людей, меньше встречных глаз, и шла быстро, почти бежала. Ей надо было так дойти, нигде не сворачивая, до Пироговской, а там свернуть влево. Дом, куда она хотела попасть, где жила ее приятельница, был справа по ходу Пироговской, перед самым Французским бульваром. Она его хорошо помнила, хоть и была там всего два раза, с мужем и мальчиком, это был высокий дом, построенный прямоугольником, и в нем узкий и длинный двор, которым ей надо будет пройти в самый конец, потом влево, в предпоследнее парадное, и по лестнице подняться на третий этаж.

Она шла так с самого утра, уйдя с мальчиком из дому, где нельзя было оставаться, потому что в расклеенных приказах за это еврейкам полагалась смертная казнь, а она была еврейкой. Мальчик, ее сын, был только наполовину евреем, его отец, русский, был в Красной Армии, но она знала, что спасти мальчика это не могло. Смерть полагалась ему по рождению.

Она последний раз прошла по двум комнатам, несколько лет бывшим их домом, глядя на вещи, купленные и расставленные с такой любовью. Она написала на листочке в клеточку, вырванном из школьной тетради, крупными неровными буквами, чтобы те, кто войдет в дом, не выгоняли собаку, маленького пушистого Тобика, что он добрый, что он к ним привыкнет. Она оставила ему еду в мисочке и налила во вторую воды. Маленький пушистый любимец, он стоял на выходе с поводком в зубах и присился с ними... Лист этот она оставила на столе, прижав его краем графина.

Она шла и видела, как одновременно с ней люди покидали свои дома. Шли женщины с детьми, шли старики и старухи, шли здоровые и больные. Шли молча, никто не переговаривался. Не плакал, не здоровался и не прощался. Шли в одном направлении, в сторону Слободки, где прямо за глубокой Балкой, немного выше по ее противоположному склону, румынами было устроено гетто. Люди шли семьями, несли с собой узелки, или сумки, или небольшие чемоданы, а некоторые тянули санки с поклажей. Одна девочка несла с собой кошку, мордочка которой смешно выглядывала из-за воротника ее шубки. Девочка была рыженькая, это было заметно по волосам, выбившимся из-под шапочки, и кошка тоже была рыжей. Снега не было, и санки скрежетали полозьями о бульварные мостовые. Снега не было, но улица стала белой от узлов и подушек. Евреи шли в гетто, устроенное в бывшем морском экипаже и соседних к нему домах на Слободке. Была утренняя холодная тишина. Изморозь покрывала стены домов и стволы и ветви деревьев. Виноградные стволы, ползущие по стенам домов на решетки балконов, были белы от холода и извивались, как змеи. Люди шли в полной тишине. Их никто не подгонял. На них не обращали никакого внимания редкие встречные прохожие. Даже не оглядывались, как будто ничего странного не происходило. За ними не наблюдали солдаты. Этих людей, женщина это знала, гнала из дому сама Смерть. Ведь Смерть — это холодная белая дама, у нее легкая походка и внимательные волчьи глаза.

Она не чувствовала страха. Это было иное, страшнее любого страха. Люди исчезли, остались только обледенелые камни. Исчезло земное тепло, без надежды на возвращение. Исчезло привычное человечество, даже не плохое или хорошее, исчезло полностью все. Безвозвратно. Это случилось всего за десять — пятнадцать дней.

Она несколько раз передохнула, и они согрелись. Первый раз это было в молочной лавке на Греческой, где малыш пил теплое молоко и поспал. Они сидели там почти час, хозяйка их не трогала и вопросов не задавала, а людей за это время в лавку вошло лишь несколько. Она не боялась, потому что они с мальчиком не были похожи на евреев, они не бросались в глаза. Еврей с явными еврейскими чертами не мог теперь находиться в квартире или в помещении, еврей мог быть только на улице и только на пути в гетто. Такой теперь был закон, и некоторые люди в городе его приняли с радостью, а остальные — покорно и молча.

(Она с ребенком стала теперь навязчивым моим сном. Мне видится, как она идет нашими улицами, выходит каждое утро и идет, ведя за собой мальчишку, идет и ищет людей... Идет безостановочно, у нас длинные прямые улицы, человека на них можно увидеть издали, но тогда это были безлюдные улицы. Сейчас вновь декабрь, именно эти самые дни, как семьдесят лет назад, холодно и рано темнеет, и, когда я иду нашими улицами следом за ними, женщиной и ее ребенком, странным образом с этих улиц исчезают люди. Я иду пустыми, холодными улицами и пытаюсь их, идущих впереди, разглядеть. Иногда это получается, и тогда я успеваю заметить, как они сворачивают с Канатной на Пироговскую. Я выбегаю на этот угол и, повернув, успеваю заметить, как они, их тень, исчезают за поворотом на Французский бульвар. Иногда в этом сне ее место занимает моя мама, украинка, она идет и несет на руках меня, еврея по отцу, спасая от неминуемой смерти. Если бы они с отцом не покинули перед войной город, я мог бы родиться здесь в самый канун войны.)

Она потом была в кинотеатре, на Екатерининской, она путалась теперь в названиях, потому что никто уже не называл эту улицу именем Маркса, а старое название еще не вернулось. Она там просидела два сеанса, и малыш поспал и согрелся. Показывали хронику с танками и выстрелами, и танки куда-то упрямо лезли, в гору, останавливаясь и стреляя. И какую-то кинокомедию с капризной красавицей, время от времени певшей и весело танцевавшей. Ей не удалось поспать, потому что в зале было полно немецких солдат и невесть откуда взявшихся наших проституток. Было шумно, и пахло спиртным и едой. Она была голодна. Румын в кинотеатре не было. Вообще румыны как-то тушевались перед немецкими солдатами.

Она увидела от угла Греческой немца, стоящего на ступеньках у пивной, и ускорила шаг. Сейчас, в темноте, дни стали совсем короткими, еще даже не наступил вечер, а улица была уже темной, и от этого казалась еще более холодной, чем при блеклом солнечном свете.

Она хотела миновать этого немца быстрее, ей показалось, что он ее и мальчика внимательно разглядывает.

Она не смогла войти в этот спасительный дом. Немцы там устроили облаву, и вход был перекрыт. Она прошла мимо и свернула по

Французскому бульвару в сторону парка. И, войдя в парк, миновав детскую железную дорогу, пошла влево по широкой аллее, ведущей в город. Дальше ей пути не было. После восьми вечера на улицах города было запрещено появляться, под угрозой расстрела.

Она села на скамью, летнюю деревянную скамью. Это на продольной парковой аллее, не доходя стадиона, со стороны обсерватории, первая скамья слева. Скамья имела литую металлическую раму, на которую были положены толстые деревянные брусья. Летняя скамья для парка отдыха. Сидеть на дереве не так холодно, как на металле. Парки в Одессе летние, в них начиная с осени людей бывает не много. Зимой парки засыпают. Было уже совсем темно. Внизу, под обрывом, чувствовалось присутствие ледяного замерзшего моря. Оно было даже холоднее, чем всё вокруг. Оно стягивало в себя холод с крутых городских склонов.

Она и мальчик замерзли в этом парке. Ее имя и имя мальчишки не сохранились. Я читал, что замерзающий человек с какого-то мгновения перестает чувствовать холод. Ему становится тепло и уютно. Тогда человек засыпает спокойным, погружаясь в сладкий сон, где наконец-то тепло. Это все даровано нам Богом, и это последнее земное тепло — тоже Его подарок.

Он, бывший солдат вермахта, выжил и вернулся с войны. Вернулся домой, в свой родной, основанный евреями город Кельн. Стал писателем, и имя его теперь известно каждому культурному европейцу. Его зовут Генрих Бёльль. Вы, наверное, читали что-нибудь, он написал много. Ну, не читали, так слышали от знакомых. Немецкий писатель, нобелевский лауреат Генрих Бёльль.

Он никогда об этой истории не узнал. Если бы узнал, он потерял бы возможность писать, я знаю это, потому что он оказался хорошим писателем. У него было дарование, а дарование не дается вот так, каждому и даром.

А "Отче наш" — это было началом утренней передачи. Городской, потому что город Одесса теперь и уже навсегда стал румынский город, потому что румыны были тоже православные христиане и, значит, братья, потому что они вернули городу мирную тишину и надежду на долгую мирную жизнь без красных большевиков-убийц. Каждое утро из репродукторов, установленных на городских перекрестках, советских еще репродукторов, из которых еще вчера раздавались бодрые голоса, обещающие, что город будет только советским и навсегда советским, что мы не сдадимся и не сдадим город врагу, из этих самых репродукторов раздавался громкий крик петуха, а потом детский девичий голос читал эту молитву, читал ее, правда, на румынском, потому что жители теперь должны были перейти на румынский, родной их новый язык.

Крик петуха теперь будил по утрам горожан, и каждый день начинался христианской молитвой. Крик петуха был христианским символом веры, именно так, по петушанскому крику, апостол Петр трижды отрекся от Учителя. Было очень холодно в ту страшную ночь на холмах под Иерусалимом. Лет тридцать не было таких холодов, горели костры, солдаты грели у костров руки, и Петр подошел погреться к такому костру. Его узнали по выговорам, галилеяне говорили для этих мест с акцентом, впрочем, как и всегда евреи говорили с акцентом, слышимым уху других народов. Его спросили, не из людей ли он, что были с Иисусом, и он сказал "нет". Так трижды спрашивали, и, когда в третий раз он сказал "нет", закричал петух.

Женщина с ребенком в одной руке и чемоданчиком в другой вышла этим утром на холодную улицу именно в тот самый момент, когда закричал петух. Это ведь хорошая примета — услышать с утра слова молитвы. Особенно — в рождественские дни.

И когда проезжавшая продольной аллеей парка машина, открывая, советской модели, остановилась у деревянной скамейки, чтобы подобрать и бросить в кувоз замерзшие тела женщины и ребенка, был именно тот утренний час, когда с небес к земле сошел голос, детский, полный надежды и упования, сошел, ниспадая мягко вибрирующим конусом, нежно касаясь грешной земли святыми словами надежды и упования:

Отче наш, иже еси на небесах,
Да святится имя Твое,
Да придет царствие Твое
И на земле, как на небе.

Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, обнявшись, и мать, расстегнув шубку, охватила ее полами ребенка и так уснула. Он уснул немного раньше и, засыпая, что-то бормотал, согревшись, что-то насчет того, как хорошо быть, наконец, дома, в своей кровати, что рядом Тобик...

Если там, на небе, так же, как здесь, на земле, кому оно нужно, такое небо?!

Этот рассказ написан по мотивам рассказа В. Катаева "Огонек", 1946 г.